

Сепаратный мир

Автор:

Джон Ноулз

Сепаратный мир

Джон Ноулз

Настоящая сенсация!

Уютный мирок привилегированной закрытой школы-интерната накрыла тень Второй мировой войны, и все, что казалось в нем привычным и незыблемым, вдруг утратило ясность и однозначность...

Между двумя друзьями – замкнутым, одаренным студентом Джином и спортсменом, настоящим сорвиголовой Финеасом – происходит собственная война, стирающая юношескую наивность и погружающая героев в мир реальности...

«Сепаратный мир» – это история о взрослении, дружбе и предательстве, трусости и раскаянии!

Джон Ноулз

Сепаратный мир

John Knowles

A SEPARATE PEACE

© John Knowles, 1959

© Перевод. И. Дорониная, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

Би и Джиму с благодарностью и любовью

Глава 1

Недавно я съездил в Девонскую школу, и она, как ни странно, показалась мне более новой, чем была пятнадцать лет назад, когда я в ней учился. И более спокойной, чем я ее помнил, более «прямоходящей» и строгой, с более узкими окнами и более блестящими деревянными панелями, словно для сохранности здесь все покрыли лаком. Впрочем, пятнадцать лет назад была война. Вероятно, в то время за школой не так хорошо следили, – возможно, лак, как и все остальное, уходил на военные нужды.

Не скажу, что мне очень понравился этот ее новый блеск, потому что теперь школа выглядела как музей, каковым она, в сущности, и была для меня, хотя мне очень этого не хотелось. Глубоко в душе, там, где чувство сильнее невысказанной мысли, я всегда ощущал, что Девонская школа начала свое существование в тот день, когда я в нее вошел, оставалась реальной и полной жизни, пока я в ней учился, и угасла как свеча в тот самый час, когда я ее покинул.

Тем не менее, вот она передо мной, сохраненная чьей-то заботливой рукой с помощью лака и воска. Сохранился вместе с ней, словно застоявшийся воздух в непрветриваемой комнате, и хорошо знакомый страх, который окружал меня и наполнял те дни так плотно, что я даже не осознавал его, ибо, не ведая иного

состояния, вне этого страха, даже не догадывался о его присутствии.

Но теперь, обернувшись на пятнадцать лет назад, я с предельной ясностью увидел, в каком страхе жил тогда, и это, должно быть, означало, что за истекшее время мне удалось сделать нечто очень важное: избавиться от него.

Сейчас я слышал эхо того страха и ощущал буйную, безудержную радость, которая была его обратной стороной, аккомпанементом, и которая даже в те дни иногда прорывалась, освещая жизнь словно северное сияние на фоне черного неба.

Было два места, которые я хотел теперь увидеть. Оба – страшные, и увидеть я их хотел именно поэтому. Вот почему, позавтракав в гостинице «Девон», я пошел к школе. Стояло промозглое, не поддающееся определению время года ближе к концу ноября, сырой, словно жалующийся на судьбу ноябрьский день, когда становится заметным каждый комок грязи. К счастью, в Девоне такая погода случается редко – ледяные оковы зимы или лучезарные нью-гемпширские лета для него более характерны, – но в тот день шел дождь и дул унылый порывистый ветер.

Я шел по Гилмен-стрит, лучшей улице города. Дома здесь были красивыми и такими же необычными, какими я их помнил. Улицу окаймляли бережно осовремененные старые колониальные усадьбы с пристройками из натурального дерева в викторианском стиле и просторные, похожие на храмы дома в стиле Греческого Возрождения, как всегда впечатляющие и неприступные. Мне нечасто доводилось видеть, чтобы кто-нибудь в них входил или чтобы кто-то играл на лужайке перед ними, и даже открытое окно здесь было редкостью. Сейчас, с поникшим плющом на стенах и голыми плачущими деревьями вокруг, эти дома казались более элегантными и еще более безжизненными, чем обычно.

Как все старые добрые школы, Девонская не была огорожена стенами и воротами, а как бы естественно выростала из города, ее породившего. Поэтому, приблизившись к ней, я не испытал внезапности момента встречи; дома вдоль Гилмен-стрит начали становиться еще более неприступными, это означало, что я близко к школе, а потом – еще более опустошенными, и это означало, что я в школе.

Было начало дня, площадки и здания пустовали, поскольку все разошлись по спортивным занятиям. Ничто не отвлекало меня, пока я пересекал широкий двор, называвшийся Дальним выгоном, и шел к зданию, такому же краснокирпичному и пропорциональному, как все остальные здешние крупные здания, но увенчанному просторным куполом с колоколом под ним и украшенному часами и латинской надписью над входом, это был Первый учебный корпус.

Войдя через вращающуюся дверь, я оказался в мраморном вестибюле и остановился у подножия длинного марша белых мраморных ступеней. Хотя лестница была старой, ступеньки посередине стерлись неглубоко. Должно быть, мрамор обладал необычайной твердостью. Похоже, так оно и было скорее всего, хотя, насколько я помнил, мысль о его исключительной твердости никогда не приходила мне в голову. Удивительно, что я упустил такой важный факт.

Больше ничего примечательного я не заметил; это была, безусловно, та же лестница, по которой я ходил вверх-вниз минимум раз в день на протяжении всей своей девонской жизни. Она была такой же, как всегда. А я? Ну я, в отличие от лестницы, естественно, чувствовал себя повзрослевшим – с этого момента я начал оценивать свое эмоциональное состояние, чтобы понять, насколько необратимым было мое «выздоровление», – сделался выше ростом и крупнее. У меня теперь было больше денег, я стал успешнее и уверенней, чем тогда, когда призрак страха ходил за мной по этим ступеням.

Я развернулся и снова вышел на улицу. Двор был по-прежнему пуст, и я пошел в дальний конец школьной территории по широким гравиевым дорожкам между чопорными новоанглийскими вязами, старательно своей напоминавшими банкиров-республиканцев.

Девонскую школу иногда называют самой красивой школой Новой Англии, и даже в столь унылый день она оправдывала это звание. Ее красота складывалась из небольших упорядоченных пространств – просторный двор, деревья, три одинаковых спальных корпуса, кольцо старых зданий, – сосуществующих в общей гармонии. Но было ощущение, что разлад может начаться в любой момент, в сущности, он уже начался: к резиденции декана, безупречно-подлинному колониальному дому, был пристроен флигель с большим голым окном венецианского стекла. Возможно, когда-нибудь декан будет жить в доме, полностью сделанном из стекла, и чувствовать себя счастливым, как кулик. Все в Девоне медленно, постепенно менялось и медленно, постепенно

приходило в соответствие с тем, что было раньше. Так что логично было предположить: если здания, деканы и расписание занятий могут, то и я смогу, меняясь, достичь гармонии. А может, сам того не зная, уже смог.

Я наверняка должен был понять это лучше, добравшись до второго места из тех, на которые приехал посмотреть. Поэтому я брел мимо строго пропорциональных краснокирпичных спальных корпусов, обвитых паутиной скинувшего листву плюща, через заброшенный участок города, вклинивавшийся на территорию школы ярдов на сто, мимо массивного спорткомплекса, в этот час заполненного учениками, но снаружи тихого, как монумент, мимо крытого спортивного манежа, который называли Клеткой, – помню, в первые недели своего пребывания в Девоне, наслушавшись загадочных упоминаний о Клетке, я решил, что это место суровых наказаний, – и наконец вышел на обширный участок земли, известный как игровые поля.

Девонская школа славилась как академическими успехами, так и спортивными достижениями своих учеников, поэтому игровые поля были просторными и за исключением этого времени года всегда многолюдными. Сейчас же они расстилались вокруг меня, пропитанные водой и пустые; жалко выглядевшие теннисные корты слева, гигантские поля для футбола, американского футбола и лакросса – в центре, справа – лес, а на дальнем конце, впереди – маленькая речушка, местонахождение которой отсюда можно было распознать лишь по нескольким голым деревьям, растущим вдоль берега. День был настолько серым и туманным, что противоположный берег, где находился маленький стадион, не просматривался.

Я пустился в длинный трудный путь через игровые поля и, только пройдя уже какой-то отрезок, обратил внимание, что мягкая земляная жижа непоправимо испортила мои городские туфли. Но я не остановился. Посередине поля образовались мелкие озера грязной воды, которые пришлось обходить, при этом уже совершенно утратившие свой вид туфли мерзко чавкали каждый раз, когда я вытаскивал ногу из болота. На этом открытом месте ничто не защищало мое лицо от резких порывов мокрого ветра; в любое другое время я бы почувствовал себя дураком, хлюпающим по слякоти под дождем только для того, чтобы посмотреть на дерево.

Над речкой висел туман, поэтому, приблизившись к ней, я оказался отгороженным от всего, кроме самой реки и нескольких деревьев на берегу. Здесь ветер дул непрерывно, и я начал замерзать. Шляпы я не носил никогда, а

на этот раз забыл и перчатки. Передо мной было несколько деревьев, смутно вырисовывавшихся сквозь мглу. Любое из них могло оказаться тем, которое я искал. Мне казалось невероятным, что здесь росли теперь и другие деревья, выглядевшие так же, как мое. По моим воспоминаниям, оно возвышалось над рекой как гигантский одинокий пик, грозный, словно артиллерийское орудие, и длинный, словно бобовый стебель. Тем не менее, вот она – редкая рощица, ни одно из деревьев в которой особой внушительностью не отличалось.

Шагая по мокрой, задубевшей от холода траве, я начал внимательно осматривать каждое из них и наконец узнал то, которое искал, по маленьким зарубкам на стволе, крупному суку, простершемуся над рекой, и тонкому отростку рядом. Это было то самое дерево, и оно напомнило мне о том, что мужчины, кажущиеся нам в детстве гигантами, много лет спустя оказываются не просто ниже ростом по сравнению с тобой выросшим, но маленькими безотносительно ко всему, съезжившимися от возраста. От такого двойного умаления былые гиганты превращаются в карликов.

Дерево было не просто голым, что естественно в это время года, оно словно бы устало от минувших лет, ослабело, высохло. Я был благодарен, очень благодарен за то, что повидался с ним. Чем дольше вещи остаются прежними, тем больше они в итоге меняются – *plus c'est la meme chose, plus ?a change*. Ничто не вечно – ни дерево, ни любовь, ни даже память о насильственной смерти.

Внутренне изменившийся, я отправился обратно по грязи. Я промок насквозь, и было совершенно ясно, что пора мне укрыться от дождя в помещении.

Дерево было огромным, грозным, словно сделанным из черной вороненой стали шпилем, возвышавшимся над берегом реки. Провались я на месте, если подумаю о том, чтобы влезть на него. Да пошло оно к черту. Никому, кроме Финеаса, такая безумная идея и в голову прийти не могла.

Он же, естественно, не видел в этом ничего хоть сколько-нибудь пугающего. А если бы и видел, ни за что не признался бы. Не таков наш Финеас.

– Что мне больше всего нравится в этом дереве, – сказал он тем голосом, который был звуковым аналогом гипнотического взгляда, – так это то, что оно

такое пустяковое! – Он выпучил свои зеленые глаза, уставившись на нас характерным маниакальным взглядом, и лишь самодовольная ухмылка, растянувшая его рот и смешно выпятившая верхнюю губу, убеждала в том, что он не окончательно свихнулся.

– Значит, именно это тебе нравится больше всего? – сказал я саркастически. В то лето я многое произносил саркастически, это было мое «саркастическое лето», лето 1942 года.

– Угу-й-ага, – ответил он. Это забавное новоанглийское междометие всегда смешило меня, и Финеас знал это, вот и на сей раз я не удержался от смеха, что снизило градус моего сарказма, а заодно и испуга.

С нами были еще трое – в те дни Финеас всегда ходил в компании числом с хоккейную команду, – и они, стоя рядом, переводили взгляд с него на дерево и обратно, стараясь не выдать своего страха. Вверх по вздымающемуся черному стволу, до солидного сука, нависавшего над берегом, шли грубые деревянные колышки. Взобравшись на этот сук и приложив невероятное усилие, можно было прыгнуть в реку достаточно далеко, чтобы это не представляло опасности для жизни. Так говорили. По крайней мере, компании семнадцатилетних ребят это удавалось, но у них было перед нами решающее преимущество в один год. Никто из средне-старших, как называли в Девонской школе выпускников предпоследнего класса высшей школы, никогда не пробовал это сделать. Естественно, Финеас решил стать первым и, опять же естественно, – подбить нас, остальных, тоже поучаствовать.

Строго говоря, мы даже еще не были средне-старшими, поскольку шел летний семестр, устроенный для того, чтобы, учитывая военное время, мы не отстали от школьной программы. Так что тем летом мы еще пребывали в шатком положении перехода от безропотных салаг к почти бывалым и уважаемым средне-старшим. Те, кто был классом старше нас, мальчики предпризывного возраста, почти уже солдаты, рвались на войну, опережая нас. Они поступали на ускоренные курсы по программе оказания первой помощи и сколачивали отряды физического закаливания, которое включало в том числе и прыжки с этого дерева. Мы же пока невозмутимо и смиренно читали Вергилия и играли в пятнашки на берегу реки ниже по течению. Пока Финеасу не стукнула в голову мысль об этом дереве.

И вот мы, задрвав головы, глядели на него: трое с ужасом, один – с возбуждением.

– Кто первый? – последовал риторический вопрос Финеаса. Мы ответили лишь молчаливыми взглядами, и тогда он начал раздеваться, в конце концов сняв с себя все, до трусов. Для такого выдающегося спортсмена – даже будучи еще средне-младшим, он считался лучшим спортсменом школы – сложен был Финеас не слишком атлетически. Ростом он был с меня – пять футов восемь с половиной дюймов (до того как мы стали жить с ним в одной комнате, я всем говорил, что мой рост пять футов девять дюймов, но Финеас публично, со свойственной ему непоколебимой уверенностью, заявил: «Нет, мы с тобой одного роста – пять футов восемь с половиной дюймов. Ребята с левого фланга»), а весил на десять фунтов больше – сто пятьдесят фунтов, и вся его фигура, от ног до торса, плечевой пояс, бицепсы и мощная толстая шея представляли собой сплошной монолит силы.

Он начал карабкаться на дерево, цепляясь за колышки, прибитые к стволу. Мускулы его спины работали, как у пантеры. Колышки казались недостаточно прочными, чтобы выдержать его вес. Но наконец Финеас перешагнул на сук, простирившийся ближе к воде.

– Отсюда прыгают? – спросил он. Никто из нас не знал. – Если я это сделаю, вы все должны будете повторить, договорились? – Мы пробормотали нечто нечленораздельное. – Ну, – крикнул он, – это мой вклад в оборону! – И, оттолкнувшись, прыгнул, пролетел через кончики нижних ветвей и плюхнулся в воду.

– Здорово! – крикнул он, наконец вынырнув и качаясь над поверхностью воды; мокрые волосы смешно облепили его лоб. – Это было самое большое удовольствие за прошедшую неделю. Кто следующий?

Следующим был я. При виде дерева меня всего, до кончиков пальцев, в которых ощущалось покалывание, окатило волной страха. В голове образовалась какая-то неестественная пустота, и неясный шелест соседнего леса стал доноситься как будто сквозь заглушающий фильтр. Должно быть, я впадал в состояние легкого шока. Отгороженный им от окружения, я снял одежду и начал карабкаться вверх по колышкам. Не помню, чтобы я что-нибудь говорил. На самом деле сук, с которого прыгнул Финеас, был тоньше, чем казался снизу, и расположен гораздо выше. По нему невозможно было пройти достаточно

далеко, чтобы точно оказаться над водой. Поэтому, если ты не хотел упасть на мелководье рядом с берегом, нужно было сильно оттолкнуться и выпрыгнуть далеко вперед.

– Ну, давай! – понукал меня снизу Финни. – Хватит там красоваться.

Автоматически я отметил про себя, что вид отсюда открывался впечатляющий.

– Когда торпедируют транспортное судно, – кричал Финни, – нельзя стоять и любоваться природой. Прыгай!

И что я делаю здесь, на этой верхотуре? Почему позволил Финни уговорить меня совершить эту глупость? Неужели он начинает иметь власть надо мной?

– Прыгай!

С таким ощущением, словно швыряю прочь свою жизнь, я прыгнул в никуда. Кончики нижних ветвей оцарапали меня на лету, потом я рухнул в воду. Мои ноги коснулись мягкого ила на дне, и уже в следующий момент я, вынырнув на поверхность, услышал поздравления. Чувствовал я себя отлично.

– Думаю, ты прыгнул лучше, чем Финни, – сказал Элвин Лепеллье, известный под кличкой Чумной, с таким видом, словно вызывал на спор каждого.

– Не спеши, парень, – ответил ему Финни своим сердечным проникновенным голосом, который он извлекал из своей груди, как из звучного духового инструмента. – Не начинай раздавать награды, пока дистанция не пройдена до конца. Дерево ждет.

Чумной решительно, словно навсегда, закрыл рот. Он не стал ни спорить, ни отказываться. Не отступил. Он просто сделался как неживой. Зато двое других, Чет Дагласс и Бобби Зейн, пустили в ход все свое красноречие: они громко сетовали на школьные правила, на опасность схлопотать желудочную колику или такое увечье, о каком прежде никто и не слыхивал.

– Значит, только ты, приятель, – наконец сказал Финни, обращаясь ко мне. – Только ты и я.

Мы с ним пустились в обратный путь через игровые поля в почтительном сопровождении остальных – вроде двух сюзеренов[1 - Сюзерен (от фр. suzerain) – крупный феодальный правитель. (Здесь и далее примеч. пер.)].

В тот момент мы были с Финеасом лучшими друзьями.

– Классно ты прыгнул, – добродушно сказал Финни и добавил: – после того как я тебя пристыдил и заставил.

– Никого ты не пристыдил и не заставил.

– Нет, заставил. Я тебе нужен в таких ситуациях. Иначе ты вечно норовишь увильнуть.

– Я никогда в жизни ни от чего не увивал! – крикнул я с тем бо?льшим негодованием, что это было правдой. – Ты чокнутый!

Финеас, в своих белых кедах, безмятежно шел, или, скорее, даже пари?л, катился вперед с такой неосознанной плавностью движения, что слово «шел» здесь не подходило.

Я шагал рядом с ним через огромные игровые поля к спорткомплексу. Пышный зеленый дерн под ногами был тронут росой, а впереди виднелась легкая зеленая дымка, висевшая над травой и пронизанная насквозь солнечным мерцанием. Финеас внезапно замолчал, и в тишине стали слышны стрекот кузнечиков, предзакатное пение птиц, артиллерийская канонада школьного грузовика, едущего по пустой беговой дорожке в четверти мили от них, взрыв смеха от задней двери спорткомплекса, а затем, поверх всех этих звуков, равнодушный матриархальный звон колокола из-под купола Первого корпуса, оповещавший о времени: шесть часов – самый равнодушный, самый всепроникающий колокол в мире, благовоспитанный, невозмутимый, непобедимый и окончательный.

Колокольный звон плыл над роскошными кронами вязов, над широкими покатыми крышами и грозными дымоходами спальных корпусов, над узкими и острыми верхушками старых домов, под просторным нью-гемпширским небом – прямо к нам, возвращавшимся с реки.

– Надо поторопиться, чтобы не опоздать на ужин, – сказал я, переходя на то, что Финни называл моим «вест-пойнтским шагом». Не то чтобы Финneas как-то особо не любил Вест-Пойнт или власти в целом, он просто считал любую власть неизбежным злом, противодействие которому доставляет огромное удовольствие, а себя – своего рода баскетбольным щитом, возвращающим все оскорбления, которые она ему наносила. Мой «вест-пойнтский шаг» он терпеть не мог; его правая ступня мелькнула в воздухе, и я на полном ходу нырнул носом в траву.

– А ну, свали с меня свои сто пятьдесят фунтов! – заорал я, потому что он сидел у меня на спине. Финни встал, добродушно похлопал меня по затылку и двинулся дальше через поле, не соизволив даже обернуться, чтобы не пропустить мою контратаку, а полагаясь лишь на свой сверхчувствительный слух и способность, не глядя, чутко приближение сзади. Когда я бросился на него, он легко сделал шаг в сторону, но, пролетая мимо, я все же успел лягнуть его ногой. Он поймал меня за эту самую ногу, и между нами состоялась короткая борцовская схватка на дерне, которую он выиграл.

– Ты бы лучше поторопился, – сказал он, – а то тебя посадят на гауптвахту.

Мы снова двинулись вперед, теперь быстрее; Бобби, Чумной и Чет, уйдя вперед, махали нам – мол, ради бога, поскорей; так Финneas снова поймал меня в свою самую надежную ловушку: я вдруг оказался соглашателем. Пока мы быстро шагали рядом, я внезапно почувствовал отвращение к колоколу, к собственному «вест-пойнтскому шагу», к этой поспешности и к своему соглашательству. Финни был прав. И существовал лишь один способ показать ему это. Я толкнул его бедром, застав врасплох, и он вмиг очутился на земле, явно довольный. Поэтому-то он меня так и любил. Когда я прыгнул на него, упершись ему в грудь коленями, ему больше ничего и не надо было. Мы более-менее на равных боролись некоторое время, а потом, когда он уже был уверен, что на ужин мы опоздали, оторвались друг от друга.

Пройдя мимо спорткомплекса, мы направились к первой группе спальных корпусов, темных и молчаливых. В летнее время в школе нас оставалось всего сотни две, недостаточно, чтобы заполнить бо?льшую часть помещений. Миновав распластаный пустующий директорский дом – директор где-то выполнял какое-то задание по поручению вашингтонского правительства, – часовню, тоже пустующую, поскольку она использовалась лишь по утрам, и то очень недолго, Первый учебный корпус, в котором тусклый свет был виден лишь в нескольких

из его многочисленных окон, там, где преподаватели продолжали работать в своих классных комнатах, мы спустились по короткому склону на широкий, идеально подстриженный газон Дальнего выгона, свет на него падал лишь от окружающих его георгианских зданий. С десятков мальчиков, поужинав, слонялись по траве и болтали под аккомпанемент звона посуды, доносившегося из кухни, которая располагалась в крыле одного из зданий. По мере того как постепенно темнело небо, в спальнях корпусах и старых домах загорались огни; где-то далеко громко играл патефон: не доиграв до конца «Не сиди под яблоней», он сменил пластинку на «Либо слишком молоды, либо слишком стары», потом проявил более изысканный вкус – зазвучал «Варшавский концерт»[2 - «Варшавский концерт» для фортепьяно с оркестром был написан английским композитором Ричардом Эддинселлом (1904–1977) в стиле Рахманинова для фильма «Опасная луна» (1941).], потом сюита из балета «Щелкунчик», а потом патефон замолчал.

Мы с Финни отправились в свою комнату и принялись в желтом свете настольных ламп выполнять домашнее задание по Гарди: я уже наполовину прочел «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», он продолжал неравную борьбу с романом «Вдали от обезумевшей толпы», поражаясь тому, что могут существовать люди, которых зовут Габриэль Оук и Батшеба Эвердин. Наше незаконное радио, работавшее так тихо, что ничего невозможно было разобрать, передавало новости. Снаружи был слышен шелест раннелетнего ветерка; старшие, которым позволялось возвращаться позже, чем нам, очень тихо прошмыгивали в дом под десять величественных ударов колокола. Мальчики пробежали мимо нашей двери, направляясь в ванную, и в течение некоторого времени было слышно, как из душа непрерывно лилась вода. Потом по всей школе начали быстро гаснуть огни. Мы разделись, я натянул какую-то пижаму, а Финни, где-то слышавший, что это «не по-военному», пижаму надевать не стал. На какое-то время установилась тишина, что означало: мы читаем молитву. И на этом тот летний школьный день закончился.

Глава 2

Наше отсутствие на ужине не осталось незамеченным. На следующее утро – чисто вымытое, сияющее летнее северное утро – мистер Прадомм остановился возле нашей двери. Он был широкоплеч, угрюм и всегда носил серый деловой костюм. Мистер Прадомм отнюдь не отличался тем небрежным, «британским»

видом, какой имели почти все преподаватели Девонской школы, потому что был приглашен на время, только на лето. Он следил за соблюдением школьных правил, которые твердо усвоил; отсутствие на ужине было нарушением одного из них.

Финни объяснил, что мы плавали в реке, потом у нас был борцовский поединок, потом начался такой закат, каким невозможно было не залюбоваться, потом нужно было повидаться по делу с несколькими друзьями... Он говорил и говорил, его голос плыл по воздуху, извлекаемый из глубокого резонатора его груди, глаза время от времени расширялись, посылая зеленые вспышки через всю комнату. Стоя в тени, на фоне ярко освещенного окна за спиной, он, загорелый, сиял здоровьем. Глядя на него и слушая его бессвязно-красноречивые объяснения, мистер Прадомм быстро ослаблял свою суровую хватку.

– Если вы не пропустили девять приемов пищи за последние две недели... – вклинился было он.

Но Финни не желал упускать своего преимущества. Не потому, что добивался прощения за пропущенный ужин – это его как раз ничуть не интересовало, он бы, скорее, порадовался наказанию, если бы оно было назначено в какой-нибудь новой, ранее неведомой форме. Он продолжал эксплуатировать свое преимущество потому, что видел: мистеру Прадомму это нравится, пусть и против его собственной воли. Наставник с каждой минутой все больше утрачивал свою официальную позу, и не исключено, что при достаточной настойчивости со стороны Финнеаса между ними вот-вот установилось бы безотчетное дружеское расположение, а это являлось одним из тех состояний души, ради которых Финни, собственно, и жил.

– Но настоящая причина, сэр, заключается в том, что нам нужно было спрыгнуть с дерева. Вы знаете это дерево... – И мне, и наверняка мистеру Прадомму, и Финни, если бы он на секунду остановился и подумал, было прекрасно известно, что прыгать с дерева было запрещено еще строже, чем пропускать еду. – Мы, естественно, должны были это сделать, – продолжал, тем не менее, Финни, – потому что мы все готовимся идти на войну. Что, если призывной возраст снизят до семнадцати лет? И Джину, и мне в конце лета исполнится семнадцать, что очень удобно, поскольку к тому времени начнется новый учебный год, и ни у кого нет сомнений относительно того, кто в какой класс пойдет. Чумному Лепеллье уже семнадцать; если не ошибаюсь, он будет подлежать призыву еще

до окончания следующего учебного года и станет уже «старшим», – понимаете? – и после выпускного класса будет подлежать призыву. Но с нами, с Джином и со мной, все в порядке, в абсолютном порядке. И речи быть не может о том, чтобы мы не подчинялись безоговорочно и полностью всему, что происходит и что предстоит. Все зависит исключительно от дня рождения, если не углубляться в проблему и не рассматривать ее с сексуальной точки зрения, о чем я сам никогда и не помышлял, потому что это дело моей мамы и моего отца, и у меня никогда даже желания не возникало особо задумываться об их интимной жизни...

Все, что говорил Финни, было хоть и чудовищно сумбурным, но правдивым и искренним, и он очень удивлялся, если его речи ошарашивали собеседника.

Мистер Прадомм выдохнул, издав при этом легкий удивленный смешок, какое-то время смотрел на Финни, и все – вопрос оказался закрыт.

Тем летом наставники были склонны обращаться с нами именно так. Казалось, что их обычное состояние хронического неодобрения меняется. Зимой большинство из них воспринимало любое необычное поведение ученика с подозрительностью, все, что мы говорили и делали, казалось им потенциально незаконным. Теперь, в эти нью-гемпширские ясные июньские дни, они, похоже, расслабились, видя, что половину времени мы проводим у них на глазах и лишь половину используем для того, чтобы их дурачить. Склонность к терпимости ощущалась совершенно явно; Финни решил, что они начинают обнаруживать похвальные признаки зрелости.

Отчасти это было его заслугой. Преподавательский состав Девонской школы никогда прежде не сталкивался с учеником, в котором сочетались бы невозмутимое игнорирование правил с обаятельным стремлением слыть хорошим, с учеником, который, казалось бы, искренне и глубоко любит школу, но особенно тогда, когда нарушает ее распорядок, с образцовым мальчиком, который чувствует себя уютней всего в углу для прогульщиков. Не сумев справиться с Финеасом, учителя сдались, а заодно ослабили хватку и на всех нас.

Но существовала и другая причина. Думаю, мы, шестнадцатилетние мальчики, напоминали им о мирных временах. Нас ставили на военный учет без призывной комиссии и медицинского освидетельствования. Никто никогда не проверял нас на дальтонизм и на грыжу. Травмы коленей и прокол барабанных перепонк

были жалобами, не достойными внимания, и не являлись изъянами, отделявшими меньшинство от участи остальных. Мы были беспечны, необузданны и, полагаю, являли собой свидетельство той жизни, которую всем так хотелось сохранить, несмотря на войну. Так или иначе, учителя были теперь более снисходительны по отношению к нам, чем когда-либо прежде; все свое внимание они обратили на старших, направляя, формируя и вооружая их для войны. За нашими играми они наблюдали спокойно. Мы напоминали им о том, что такое мир, о молодых жизнях, не обреченных на гибель.

Финеас был сутью этого беспечного мира. Хотя нельзя было сказать, что его совершенно не интересовала война. После ухода мистера Прадомма он начал одеваться, при этом он просто хватал вещи, до которых мог дотянуться, – некоторые из них были моими. Потом он постоял, задумавшись, и подошел к комоду. Достал из ящика и хорошо скроенную рубашку из плотной тонкой ткани, ярко-розовую.

– Это еще что такое? – спросил я.

– Это скатерть, – произнес он уголком рта.

– Перестань. Что это?

– Это, – с оттенком гордости ответил он, – будет моей эмблемой. Мама прислала мне ее на прошлой неделе. Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное и такого же цвета? Она даже без застежки внизу. Ее нужно надевать через голову, вот так.

– Через голову? Розовая? Ты в ней выглядишь как гомик!

– Правда? – переспросил он тем тоном, каким говорил всегда, когда думал о чем-то более интересном, нежели то, что сказал ты. Однако его ум всегда фиксировал услышанное, и в соответствующий момент он это вспоминал; вот и сейчас, застегивая пуговицы на воротнике рубашки, он спокойно произнес:

– Интересно, что будет, если все примут меня за гомика?

– У тебя точно не все дома.

– Ну что ж, если поклонники начнут барабанить в дверь, можешь сказать им, что я ношу это как эмблему. – Он повернулся ко мне, чтобы дать возможность полюбоваться. – Я на днях прочел в газете, что мы впервые бомбили Центральную Европу. – Только тот, кто знал Финеаса так же хорошо, как я, мог понять, что он вовсе не сменил тему. И я молча ждал, какую фантастическую связь он установит между этой информацией и своей рубашкой. – Так вот, мы должны что-то сделать, чтобы отпраздновать это событие. Флага у нас нет, и мы не можем гордо вывесить из окна Доблесть Прошлого[3 - Old Glory (англ.) – название государственного флага США. Происходит от названия конкретного флага, который 10 августа 1831 года был вручен капитану брига «Чарлз Даггетт» У. Драйверу в городе Сейлем, штат Массачусетс. При подъеме флага на мачте судна капитан объявил: «Именую тебя «Доблесть прошлого»]. Поэтому я намерен носить это как эмблему.

И он носил. Никто другой во всей школе не мог бы позволить себе такого, не рискуя, что рубашку сорвут, дернув со спины. Когда самый суровый из наставников летнего семестра, старый мистер Пэтч-Уизерс, подошел к нему после урока истории и поинтересовался, что значит эта рубашка, я своими глазами увидел, как его испещренное морщинами, но румяное лицо становилось еще более розовым от удовольствия по мере того, как Финни объяснял ему символическое ее значение.

Это был своего рода гипноз. Я начинал верить, что Финеас способен выпутаться из любой передраги, оставшись безнаказанным, и не мог немного не завидовать ему, что было совершенно нормально. В том, чтобы немного завидовать даже лучшему другу, нет ничего плохого.

В середине дня мистер Пэтч-Уизерс, который временно, на летний семестр, замещал директора, предложил устроить традиционное чаепитие для нашего класса. Оно состоялось в пустующем директорском доме, и жена мистера Пэтч-Уизерса вздрагивала каждый раз, когда чья-нибудь чашка стучалась о блюдце. Мы сидели на застекленной веранде, которая одновременно была чем-то вроде зимнего сада, – просторной, сырой и не сильно загроможденной растениями. А те, которые там все же росли, представляли собой огромные стебли с крупными листьями без цветов, словно доисторические. Шоколадно-коричневая плетеная мебель издавала угрожающий хруст, и мы, три с половиной десятка учеников, неловко перемешивая чай в чашках, стояли посреди этих плетей с листьями и отчаянно старались, поддерживая разговор, не выгледеть в присутствии четырех наставников и их жен такими же пустомелями, какими нам казались

они.

По такому случаю Финеас смазал волосы специальной жидкостью и причесал. От этого они лоснились и резко контрастировали с простодушно-удивленным выражением, которое он придал своему лицу. Уши у него – я никогда прежде не замечал этого – были очень маленькими и плотно прижатыми к голове, а крупный нос и широкие скулы в сочетании с набриолиненными волосами делали его лицо похожим на нос корабля.

Он один держался совершенно раскованно и завел речь о бомбардировках Центральной Европы. Никто из нас об этом ничего не слышал, а поскольку Финеас не мог точно вспомнить, какая именно цель и в какой стране подверглась воздушной атаке, были это американские, британские или русские самолеты и даже в какой день он прочел в газете эту новость, то «дискуссия» носила сугубо односторонний характер.

Но это не имело никакого значения. Важно было событие само по себе. Однако в какой-то момент Финни почувствовал, что надо дать слово и другим.

– Я думаю, мы должны вышибить из них дух своими бомбардировками, но не должны подвергать опасности женщин, детей и стариков. Вы согласны? – Он обращался к миссис Пэтч-Уизерс, нервно ерзавшей около своего электрического самовара. – А также больницы, – продолжил он, – и, естественно, школы. И церкви.

– Надо также быть осторожными в отношении произведений искусства, – вставила она, – если они представляют собой непреходящую ценность.

– Чушь! – проворчал мистер Пэтч-Уизерс, побагровев лицом. – Как можно требовать от наших парней такой точности, когда они летят на высоте нескольких тысяч футов с тоннами бомб на борту! Посмотрите, что сделали немцы с Амстердамом! Посмотрите, что они сделали с Ковентри!

– Но немцы – не центральноевропейцы, дорогой, – очень мягко возразила его жена.

Мистер Пэтч-Уизерс не любил, когда его перебивали, но, похоже, от жены мог это стерпеть. Выразительно помолчав, он произнес угрюмо:

– В любом случае в Центральной Европе нет искусства, представляющего собой «непреходящую ценность».

Финни наслаждался. Он даже расстегнул свой легкий полосатый пиджак, словно для продолжения дискуссии телу требовалась бо́льшая свобода. Взгляд миссис Пэтч-Уизерс при этом упал на его ремень, и она робким голосом спросила:

– Это не... наш...

Ее муж взглянул в том же направлении; я запаниковал. В утренней спешке Финни в качестве ремня нередко использовал галстук. Но сегодня под руку ему попался форменный галстук Девонской школы.

Уж это-то не должно было сойти ему с рук. Я почувствовал, как во мне неожиданно стало подниматься волнение. Складки на лице мистера Пэтч-Уизерса приобрели твердость алмазных граней, а его жена уронила голову на грудь, словно перед гильотиной. Даже сам Финни, кажется, чуточку покраснел, если только это не было отражением розового цвета его рубашки. Но лицо сохранило спокойное выражение, и он сказал своим зычным голосом:

– Видите ли, я надел его, потому что он сочетается с рубашкой и связывает все воедино – конечно же, я не подразумевал никаких шуток, это было бы не смешно, тем более в таком изысканном обществе, – просто это объединяет нас с тем, о чем мы здесь говорим – с бомбардировками Центральной Европы, потому что, если посмотреть в корень, школа неотделима от всего, что происходит на войне, война повсюду, и мир един, и я думаю, что Девонская школа должна быть его частью. Не знаю, разделяете ли вы мое мнение.

Пока Финneas произносил речь, цвет лица мистера Пэтч-Уизерса постоянно менялся вместе с его выражением, и в конце концов на нем отразилось крайнее изумление.

– Никогда в жизни не слышал ничего столь противоречащего логике! – Однако произнес он это без особого возмущения. – Это, наверное, самый странный вклад, внесенный школой за сто шестьдесят лет своего существования. – Где-то в дальнем неведомом уголке сознания он невольно испытывал удовольствие или радостное удивление. Похоже, даже эта выходка не повлекла для Финneasа

никаких последствий.

Его глаза расширились, засверкав магическим блеском, и голос приобрел еще бо?льшую убедительность.

– Хотя, должен признаться, утром, одеваясь, я не думал об этом. – Выдавая дополнительную информацию, он мило улыбнулся. Мистер Пэтч-Уизерс хранил дружелюбное молчание, и Финни продолжил: – Я рад, что подпоясался хоть чем-то. Мне было бы страшно неловко, если бы с меня на чаепитии в директорском доме упали штаны. Конечно, директора здесь нет, но мне было бы так же неловко, если бы это случилось в вашем присутствии и присутствии миссис Пэтч-Уизерс. – И он одарил даму вежливой улыбкой.

Смех мистера Пэтч-Уизерса поразил всех, включая его самого. Мы знали все его гримасы и часто давали им шуточные названия, но сейчас на его лице отразилось нечто новое. Финнеас был совершенно счастлив: вечно кислый и суровый мистер Пэтч-Уизерс внезапно разразился смехом, и заставил его это сделать он! Финни расплылся в обезоруживающе беспечной улыбке совершенно довольного человека.

Он снова вышел сухим из воды. Я неожиданно почувствовал укол разочарования: наверное, мне хотелось увидеть нечто более драматическое, но на этом, похоже, все закончилось.

Оба в превосходном настроении, мы покинули вечеринку. Я хохотал вместе с Финни, моим лучшим и единственным другом, который был способен выпутаться из любой неприятности. И не потому, что был такой уж хитрец – в этом я был уверен. Ему все сходило с рук благодаря необычному складу личности. В сущности, мне делало честь то, что такой человек выбрал в лучшие друзья меня.

Он никогда ничем не удовлетворялся до конца, даже если сделанного было достаточно, даже если все было идеально.

– Пойдем прыгнем в реку, – с придыханием сказал он, когда мы вышли из зимнего сада, и, чтобы не дать мне возможности увильнуть, привалился ко мне и подтолкнул в нужном направлении; словно полицейская машина, прижимающая автомобиль нарушителя к обочине, он направлял меня в сторону реки. – Нам нужно прочистить мозги после этого чаепития, – сказал он. – Ох уж эти мне

разговоры!

- Да. Это было утомительно. Только вот кто говорил больше всех?

Финни сосредоточился.

- Мистер Пэтч-Уизерс был довольно болтлив, и его жена, и...

- Ну, ну, и?..

Он посмотрел на меня с притворным изумлением.

- Не хочешь ли ты сказать, что я слишком много разговаривал?!

Отвечая ему таким же притворным изумлением, я сказал:

- Ты?! Слишком много разговаривал?! Как ты можешь обвинять меня в том, что будто бы я обвиняю тебя в этом?!

Как я уже говорил, то было мое саркастическое лето. Только спустя много лет я понял, что сарказм зачастую бывает протестной реакцией людей слабых.

Мы шли к реке под клонившимся к закату солнцем.

- На самом деле я не верю, что наши бомбили Центральную Европу, а ты? - задумчиво сказал Финни. Спальные корпуса, мимо которых мы проходили, были массивными и почти неотличимыми друг от друга под густыми покровами плюща, чьи крупные, старые на вид листья, казалось, оставались на месте всегда, зимой и летом, - вечные висячие сады Нью-Гемпшира. Вязы высоко врезались в просветы между домами; ты забывал, насколько они высоки, пока, задрав голову, не проскальзывал взглядом по знакомым стволам к нижним листовым зонтам и дальше, к пышной зелени над ними: крупные ветви, более мелкие ответвления - целый мир ветвей с бескрайним морем листвы. Они тоже казались вечными, никогда не меняющимися - неприкасаемый и недосягаемый мир в вышине, похожий на декоративные башни и шпили гигантской церкви. Слишком высокие, чтобы любоваться ими, слишком высокие вообще для чего бы то ни было, величественные, далекие и совершенно бесполезные.

– Я тоже в это не верю, – был мой ответ.

Далеко впереди четверо мальчишек, казавшихся белыми флажками на бескрайних просторах игровых полей, бежали по направлению к теннисным кортам. Справа от них застыли, будто в задумчивости, серые стены спорткомплекса; высокие и широкие окна с овальными арками вверху отражали солнечный свет. Позади спорткомплекса, на дальнем конце полей, начиналась роща, наша девонско-школьная роща, которая в моем воображении переходила в великие северные леса. Мне представлялось, что они монолитным расширяющимся коридором простираются так далеко на север, что никто никогда не видел другого их края, находившегося где-то на разбросанной канадской границе. Казалось, что мы ведем свои игры на укрощенной окраине последнего и величайшего массива дикой природы. Мне так и не довелось выяснить, правда ли это. Вероятно, так и было.

Бомбы над Центральной Европой здесь, для нас, были нереальными, не потому что мы не могли себе их представить – тысячи газетных фотографий и кадров хроники давали нам довольно точное представление о картинах бомбардировок, – а потому, что место, где мы пребывали, было слишком благополучным, чтобы поверить в существование чего-то подобного. Рад сообщить, что лето мы провели абсолютно эгоистично, если можно так выразиться. Летом 1942 года во всем мире было очень мало людей, которые могли это себе позволить – за исключением нашей небольшой компании, – и я рад, что мы воспользовались этим преимуществом.

– Первый, кто скажет что-нибудь неприятное, получает пинок под зад, – задумчиво произнес Финни, когда мы подошли к реке.

– Ладно.

– Ты по-прежнему боишься прыгать с этого дерева?

– В этом вопросе уже есть нечто неприятное, ты не думаешь?

– В этом вопросе? Конечно, нет. Все зависит от того, что ты ответишь.

– Я боюсь прыгнуть с этого дерева? Наоборот, я думаю, что это будет величайшим удовольствием.

После того как мы немного поплавали в реке, Финни сказал:

– Можешь оказать мне любезность и прыгнуть первым?

– С радостью.

Одеревеневший, я начал взбираться по колышкам, чуточку ободренный тем, что Финни карабкался следом за мной.

– Мы прыгнем вместе, чтобы скрепить наше товарищество, – сказал он. – Мы организуем Союз самоубийц, а вступительным взносом будет один прыжок с этого дерева.

– Союз самоубийц, – сдавленно повторил я. – Союз самоубийц летнего семестра.

– Отлично! Суперсоюз самоубийц летнего семестра. Как тебе?

– Замечательно. Пойдет.

Мы оба стояли на суку: я немного впереди, чуть ближе к реке, чем Финни. Повернувшись, чтобы сказать что-то еще, желая отсрочить прыжок хоть на несколько секунд, я пошатнулся и стал терять равновесие. Меня на миг охватила безотчетная всепоглощающая паника, но в этот момент Финни резко выбросил вперед руку и схватил меня за плечо; я восстановил равновесие, и паника тут же прекратилась. Снова повернувшись лицом к реке, я продвинулся еще на несколько шажков, оттолкнулся, выпрыгнул вперед и нырнул в глубокую воду. Финни тоже отлично спрыгнул, и Суперсоюз самоубийц летнего семестра был официально учрежден.

Только после обеда, когда шел в библиотеку, я в полной мере осознал грозившую мне опасность. Если бы Финни не поднимался следом за мной... если бы его там не оказалось... я мог упасть на землю и сломать спину! А если бы упал как-нибудь особенно неловко, мог и погибнуть. Финни фактически спас мне жизнь.

Глава 3

Да, он фактически спас мне жизнь. Но он же фактически и подверг ее риску. Если бы не он, я бы не оказался на этом суку, не обернулся бы, стоя на нем, и не потерял бы равновесия. Так что у меня нет причины быть настолько благодарным Финеасу.

Суперсоюз самоубийц летнего семестра имел успех с самого начала. В тот же вечер Финни уже говорил о нем как о некоей почтенной, устоявшейся организации Девонской школы. С полдюжины друзей, собравшихся в нашей комнате, задавали кое-какие уточняющие вопросы, словно не было ни одного человека, который никогда не слышал о подобном клубе. Ни для кого не секрет, что школы изобилуют тайными обществами и подпольными братствами, и все восприняли Союз самоубийц как одно из них, о котором только сейчас стало известно. Без колебаний все записались в «абитуриенты».

Мы начали встречаться каждый вечер, чтобы посвящать новичков в члены союза. Привилегированные участники, он и я, открывали каждый сход, лично совершая прыжки. Это было первое правило, которое априори в то лето установил Финни. Мне оно было ненавистно. Я так и не привык к этим прыжкам. С каждым разом сук казался мне все более тонким, расположенным все выше, и все труднее было допрыгнуть до глубоководья. И каждый раз, перед тем как прыгнуть, меня охватывало изумление: неужели я и впрямь собираюсь совершить поступок, чреватый гибелью? Но я всегда прыгал. Иначе я потерял бы лицо в глазах Финеаса, а об этом страшно было даже подумать.

Итак, мы встречались каждый вечер. Хоть Финни и жил, руководствуясь вдохновением и анархией, он высоко ценил правила. Свои собственные, не те, которые навязывали ему другие, например, преподавательский состав Девонской школы. Суперсоюз самоубийц летнего семестра был клубом; члены клубов, по определению, видятся регулярно; вот мы и встречались каждый вечер. Постоянней этого ничего быть не могло. Еженедельные сходы Финни считал нерегулярными, почти случайными, граничащими с легкомыслием.

Я соглашался с ним и никогда не пропускал ни единой встречи. В то время мне и в голову не приходило сказать: «Сегодня мне не хочется», хотя на самом деле не

хотелось всегда. Я был жертвой диктата собственного рассудка, который даровал мне свободу маневра не более чем смирительная рубашка. Стоило Финни сказать: «Ну, пошли, приятель!», и, действуя вопреки всем инстинктам моего существа, я шел, даже не помышляя возразить.

По мере того как продолжалось лето с этим ежедневным неотвратимым мероприятием – ради которого можно было пропустить урок, не явиться на обед и даже на службу в часовню – я стал замечать кое-что особенное в складе ума Финни, казалось бы, полностью противоположном моему собственному. На самом деле Финни не был совсем уж безрассудный. Я заметил, что он неукоснительно следовал некоторым правилам, которые выражал в форме заповедей. «Никогда не говори, что в тебе пять футов девять дюймов[4 - 175, 8 см.] росту, если на самом деле в тебе – пять футов восемь с половиной дюймов» – это была первая из них, с которой я столкнулся. Еще одной заповедью было: «Всегда читай молитву на ночь, поскольку может оказаться, что Бог есть».

Но заповедь, которая оказывала самое существенное влияние на его жизнь, звучала так: «В спорте ты всегда побеждаешь». Это «побеждаешь» было коллективным. В спорте побеждает каждый и всегда. Если ты принял участие в спортивной игре, ты уже победил – это все равно что, сев за стол, съесть свою еду. Для Финни это было аксиомой. Он никогда не позволял себе думать о том, что, когда мы побеждаем, они проигрывают. Это разрушило бы идеальную красоту, которую воплощал для него спорт. В спорте никогда не случалось ничего плохого, он был абсолютным благом.

Спортивная программа того лета его возмутила – немного тенниса, немного плавания, беспорядочные футбольные матчи, бадминтон. «Бадминтон!» – презрительно воскликнул он в тот день, когда эта дисциплина появилась в расписании. Он ничего не добавил, но гневная, презрительная, отчаянная интонация его голоса сказала за него: «Бадминтон!»

– По крайней мере, нам лучше, чем старшим, – заметил я, вручая ему хлипкую ракетку и воздушный воланчик. – У них в расписании – ритмическая гимнастика.

– Чего от нас добиваются? – Финни с силой запустил волан через всю раздевалку. – Хотят сломать нас? – Сквозь гнев, однако, послышалась ироническая нотка, и это означало, что он придумывает, как соскочить.

Мы вышли на воздух, под радушное послеполуденное солнце. Игровые поля расстились перед нами, оптимистично зеленые и пустые. На теннисных кортах народу было полно. Как и на площадке для софтбола. Бадминтонные сетки сладострастно раскачивались на ветру. Финни посмотрел на них с тихим удивлением. На дальнем конце поля, ближе к реке, стояла деревянная вышка высотой футов в десять, с которой тренер обычно руководил занятиями по ритмической гимнастике. Сейчас она пустовала. Старшая группа отправилась либо на импровизированный кросс по лесу, либо восстанавливать свое кровяное давление, либо выполнять хитроумное упражнение в Клетке, состоявшее в том, чтобы в течение пяти минут в быстром темпе ступать одной ногой на возвышение, подтягивать другую, потом таким же образом спускаться. Словом, они удалились куда-то готовиться к войне. Все поле было в нашем распоряжении.

Финни медленно пошел по направлению к вышке. Может, он надумал, чтобы мы отнесли ее к реке и сбросили в воду, а может, просто хотел рассмотреть поближе, ему всегда было интересно все рассматривать вблизи. Но что бы Финни ни задумал, он обо всем забыл, подойдя к вышке. Кто-то оставил рядом с ней большой тяжелый набивной кожаный мяч для лечебной физкультуры.

Он поднял его.

– Вот, – сказал Финни, – видишь? Это все, что нужно для спорта. Как только было изобретено колесо, возник и спорт. Что касается этого... – Он обхватил медицинский мяч левой рукой, а в правой поднял и протянул вперед грязный волан. – Это перышко – идиотизм; единственное, для чего оно годится, – это для эни-мини-майни-мо[5 - Начало американской детской считалки.]. – Он выпустил мяч и начал с отвращением выдергивать перышки из волана, словно выбирал клещей из собачьей шерсти. Когда в руке у него осталась только резиновая головка с единственным торчащим пером, он изо всех сил зашвырнул ее куда-то далеко вперед. С бадминтоном было покончено.

Он снова поднял медицинский мяч и с удовольствием взвесил его в руке.

– Вообще ничего, кроме круглого мяча, не требуется.

Хоть он редко это сознавал, за Финneasом постоянно наблюдали – как за погодой. В дальнем конце площадки игравшие в бадминтон почуяли изменение

направления ветра, до нас донесся их крик. Поскольку мы не отозвались и не пошли к ним, они начали постепенно приближаться сами.

– Думаю, сейчас самое время начать новые упражнения, согласен? – сказал мне Финни, склонив голову набок. Потом он медленно обвел подошедших товарищей взглядом, исполненным какой-то полусознанной решимости, целью которого было увлечь людей своей последней идеей. Дважды моргнув, он добавил: – Можно начать с этого мяча.

– Давайте сделаем так, чтобы это имело какое-то отношение к войне, – предложил Бобби Зейн. – Ну что-то вроде блицкрига или вроде того.

– Блицкриг, – с сомнением повторил Финни.

– Можно придумать что-нибудь наподобие бейсбольного блицкрига, – сказал я.

– Мы назовем это блицкригбол, – подхватил Бобби.

– Или короче – блицбол, – поразмыслил вслух Финни. – Да, блицбол. – Потом, бросив выжидательный взгляд на окружающих, воскликнул: – Ну, начнем? – и без предупреждения бросил мне тяжелый мяч.

Я поймал его обеими руками и прижал к груди.

– Беги! – приказал Финни. – Нет, нет, вон туда! К реке! Беги!

Я помчался к реке, окруженный толпой нерешительных товарищей; они догадывались, что, по всей вероятности, являются моими противниками по блицболу.

– Не жадничай! – вопил Финни. – Отдай другому! Иначе, – он ритмично выкрикивал слова на бегу, – мы окружим тебя и кто-нибудь собьет тебя с ног.

– Попробуйте! – Я увильнул от него, продолжая прижимать к себе мяч. – Что это за игра?

– Блицбол! – закричал Чет Даггласс, хватая меня за ноги и валя на землю.

– Это совершенно не по правилам, – сказал Финни. – Руками действовать нельзя, когда сбиваешь того, кто владеет мячом.

– Нельзя? – пробормотал Чет, сидя на мне верхом.

– Нельзя. Руки надо держать скрещенными на груди, вот так, а того, у кого мяч, просто подсекать. Плечами тоже нельзя работать. Ладно, Джин, начинай сначала.

– Может, теперь кто-нибудь другой возьмет мяч? – быстро предложил я.

– Нет, после того как тебя против правил сбивают с ног, мяч остается у тебя. Все в порядке, продолжай. Вперед!

Мне не оставалось ничего иного, кроме как снова пуститься наутек, между тем как остальные с новым энтузиазмом затопали вокруг меня.

– Бросай его! – приказал Финеас. Бобби Зейн был более-менее открыт, и я бросил мяч ему; тот был таким тяжелым, что Бобби принял мою передачу только у самой земли. – Прекрасно, молодцы, – прокомментировал Финни, продолжая мчаться вперед на предельной скорости. – Когда передаешь мяч партнеру, он и должен коснуться земли. – Бобби, ища защиты, попятился ко мне. – Вали его! – заорал мне Финни.

– Валишь?! Ты что, спятил? Он же из моей команды!

– В блицболе нет никаких команд, – с явным раздражением крикнул он, – здесь все – противники. Вали его!

Я свалил.

– Отлично, – сказал Финни, распутывая нас. – Теперь мяч снова переходит к тебе. – Он передал мне свинцовый снаряд.

– Я считал, что мяч переходит...

– Нет, ты, естественно, снова завладел мячом, когда свалил противника. Беги.

Я снова помчался. Чумной Лепеллье бежал размашистым шагом вне пределов моей досягаемости, не следя за игрой, бессмысленно следуя за мной по пятам, как дельфин за проходящим кораблем.

– Чумной, лови! – Я бросил ему мяч поверх нескольких голов.

Пойманный врасплох, Чумной сокрушенно задрал голову, отшатнулся, присел, чтобы мяч не попал в него, и, как это часто с ним случалось, выпалил первое, что пришло ему в голову:

– Он мне не нужен!

– Стоп, стоп! – закричал Финни голосом рефери. Все замерли, Финни поднял мяч и, держа его в руках, продолжил: – Сейчас Чумной продемонстрировал нам одно очень важное правило игры. Принимающий может по собственному желанию отказаться принять пас. Поскольку все мы соперники, мы можем и будем все время играть друг против друга. Это правило назовем правилом отказа, или правилом Лепеллье. – Мы все молча кивнули. – Итак, Джин, мяч по-прежнему твой, разумеется.

– По-прежнему мой? Ради бога! Еще никто кроме меня не владел мячом.

– У них тоже будет возможность. И еще: если на отрезке между вышкой и рекой твоя подача будет отклонена три раза, ты возвращаешься на исходную позицию, и все начинается сначала. Естественно.

Блицбол стал сюрпризом того лета. В него играли все. Не удивлюсь, если в какой-то форме он и теперь популярен в Девонской школе. Но никто не умел играть в него так, как играл Финеас. Невольно он изобрел игру, которая позволяла максимально раскрыть все его спортивные дарования. Учрежденные им правила ставили владеющего мячом в вопиюще неравное положение по сравнению с остальными игроками, поэтому Финеас практически каждый день, оказываясь на этой позиции, из кожи вон лез, чтобы превзойти самого себя. Увиливая от волчьей стаи, в которую превращались остальные игроки, он использовал отходы назад, обманные движения и приемы массового гипноза, бывшие настолько эффективными, что это удивляло даже его самого; несколько

игр спустя я стал замечать, как он, довольный собой, тихо хмыкает – словно сам себе не веря. Во время игры, продолжавшейся без перерыва, он также обладал преимуществом неисчерпаемого потока энергии – я ни разу не видел, чтобы она у него иссякала. Я никогда не видел его уставшим, задыхающимся, испытывающим перегрузку или обеспокоенным. И на рассвете, и в течение всего дня, и в полночь Финеас всегда был полон этой ровной несокрушимой энергии.

С самого начала было ясно, что никто другой так не приспособлен к какому бы то ни было виду спорта, как Финни – к блицболу. Я это сразу увидел. А почему бы и нет? В конце концов, это же он придумал игру, разве не так? Неудивительно, что он был в ней невероятно хорош, в то время как мы, остальные, только создавали сумятицу на поле – каждый по-своему. Наверное, и поделом нам было, раз мы предоставили ему одному устанавливать правила игры. На самом деле я не слишком задумывался об этом. Какая разница? Это ведь всего лишь игра. И прекрасно, что Финни мог проявить себя в ней. Точно так же, во всем своем блеске, он проявлял себя и во многом другом – например, в отношениях с товарищами по общежитию, с преподавателями; в сущности, Финни привлекал к себе и очаровывал всех, с кем сталкивался. И это меня тоже радовало. Естественно – он же был моим соседом по комнате и лучшим другом.

У каждого в жизни есть исторический момент, который ему особенно дорог. Это момент, когда эмоции приобретали над ним наибольшую власть, так что потом, когда этот человек слышит слова: «сегодняшний мир», или «жизнь», или «действительность», он соотносит их именно с этим моментом, даже если с тех пор прошло полвека. Благодаря выпущенным тогда на волю чувствам в душе человека остается особый отпечаток, и его он пронесит через всю жизнь.

Для меня таким моментом – ибо четыре года для истории всего лишь момент – была война. Война была и остается для меня реальностью. Я все еще инстинктивно живу и думаю в ее атмосфере. Вот некоторые из ее знаковых характеристик: Франклин Делано Рузвельт – президент Соединенных Штатов, и всегда им был. Двумя другими вечными мировыми лидерами являются Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Америка никогда не была, не является и никогда не будет землей изобилия, как величают ее в песнях и стихах. Нейлон, мясо, бензин и сталь – в дефиците. Рабочих мест много, а рабочих рук не хватает. Деньги очень легко заработать, но довольно трудно потратить, потому что покупать почти нечего. Поезда всегда опаздывают и всегда забиты «военнослужащими». Война всегда будет продолжаться где-то далеко от Америки и никогда не

закончится. Ничто в этой стране не остается долго на одном месте, включая людей, которые вечно либо уезжают, либо временно пребывают в отпуске. Американцы часто плачут. Шестнадцать лет – ключевой, критический и самый естественный возраст человеческого существования, все другие люди выстраиваются либо впереди, либо позади гармоничного единства шестнадцатилетних мира сего. Когда тебе шестнадцать, взрослые относятся к тебе с некоторым изумлением и почти робостью. Это остается загадкой, пока ты не поймешь: такое отношение обусловлено тем, что они предвидят твое военное будущее, то, что тебе предстоит сражаться за них. Сами вы этого не осознаете. Тратить что-либо попусту в Америке – аморально. Веревка или оловянная фольга – сокровища. Газетные страницы заполнены незнакомыми картами и названиями городов; и каждые несколько месяцев Земля словно бы срывается со своей орбиты, когда вы видите в газетах нечто невероятное, например, фотографии Муссолини – который казался едва ли не еще одним вечным мировым лидером, – подвешенного вниз головой на мясницком крюке. Все по шесть-семь раз в день слушают новости по радио. Все, что доставляет удовольствие, – путешествия, занятия спортом, развлечения, хорошая еда и красивая одежда, – малодоступно и будет таковым всегда. Эти приятные вещи – лишь крохотные фрагменты окружающего мира, и в том, чтобы предаваться им, есть нечто непатриотичное. Все чужеземные страны недостижимы ни для кого, кроме военнослужащих; они далеки, загадочны и имеют смутные очертания, словно находятся за полупрозрачным занавесом. Преобладающий цвет жизни в Америке – грязно-зеленый, который называют цветом хаки. Этот цвет уважаем и очень важен, большинство других рискуют показаться непатриотичными.

Вот эта особая Америка, насколько я понимаю, совсем не типичная, незнакомая, в памяти большинства людей представляющая собой некое размытое неустойчивое пятно, для меня и есть настоящая Америка. В той недолго просуществовавшей особой стране, в Девонской школе, мы с Финни и провели памятное лето, когда он добился некоторых выдающихся результатов в спорте. В подобное время никто не отмечает и не отдает должное никаким достижениям, связанным с физическими упражнениями, если они не касаются подвигов, свершенных на поле боя, где – либо пан, либо пропал, так что тем, чего добился Финни, восхищались только мы, кучка его товарищей.

Однажды он побил школьный рекорд по плаванию. Мы с ним дурачились в бассейне возле большой бронзовой таблицы, на которой были отмечены школьные рекорды в плавании на пятьдесят, сто и двести двадцать ярдов. Под каждой дистанцией были указаны имена рекордсменов, год, когда был установлен рекорд, и время победителя. Под отметкой «100 ярдов вольным

стилем» было написано: «А. Хопкинс Паркер, 1940, 53,0 секунды».

– А. Хопкинс Паркер? – прищурившись, прочел Финни. – Не помню никакого А. Хопкинса Паркера.

– Он закончил школу еще до нас, – сказал я.

– Ты хочешь сказать, что этот рекорд держится все то время, что мы учимся в Девонской школе, и никто его до сих пор не побил? – Это звучало оскорбительно для нашего класса, а Финни был большим патриотом своего класса, равно как и любой другой группы, к которой принадлежал, начиная от нашего с ним тандема и расширяясь во все стороны бесконечно – за пределы человечества, к иным сущностям, к облакам и звездам.

Никого, кроме нас, в бассейне не было. Вокруг блестели, отражая свет, белый кафель и оконные стеклоблоки; тихо колыхалась, бликуя в гигантской ванне, зеленая, неестественно выглядывшая вода, испуская легкий химический запах и урчание множества трубок и фильтров. Даже голос Финни, запертый в этом глухом помещении с высоким потолком, утрачивал свою особую резонирующую звучность и сливался в неразборчивый поток шума, столбом поднимавшегося к потолку.

– У меня ощущение, что я могу проплыть быстрее, чем А. Хопкинс Паркер, – сказал он.

В тренерской мы нашли секундомер. Финни поднялся на тумбочку, наклонил корпус вперед – он видел, что так делают участники соревнований, хотя сам никогда еще в них не участвовал, – я заметил, как он, готовясь к прыжку, расслабляет плечи и руки, как, не переставая владеть своим телом, сбрасывает всякое напряжение, что было неожиданно для человека, намеревающегося побить рекорд.

– На старт! Внимание! Марш! – скомандовал я.

Тело его распрямилось, выстрелило вперед с внезапно обретенной им упругостью металла и заскользило к противоположному борту: плечи над водой, а ступни и бедра так глубоко под нею, что я их даже не различал. По поверхности быстро расходилась поднятая им волна; в конце дорожки тело его

расслабилось, на миг словно бы замешкалось, а потом, перевернувшись и снова обретая металлическую упругость, понеслось в обратном направлении. Снова поворот – и опять к противоположному борту. Коснувшись его руками, он поднял голову и посмотрел на меня со спокойным интересом.

– Ну как мои успехи?

Я взглянул на секундомер: Финни побил рекорд А. Хопкинса Паркера на семь десятых секунды.

– Господи! Так я действительно это сделал. Знаешь, а я ведь понимал, что побеждаю. У меня в голове как будто тикал свой секундомер, и я знал, что иду чуточку быстрее А. Хопкинса Паркера.

– Хуже всего то, что никто этого не видел. А я – не официальный хронометрист. Не думаю, что результат зачтут.

– Конечно, не зачтут.

– Ты можешь попробовать еще раз и снова побьешь рекорд. Завтра. Мы приведем тренера, всех официальных хронометристов, я позвоню в «Девониан», чтобы они прислали корреспондента и фотографа...

Он выбрался из воды и тихо сказал:

– Я не собираюсь ничего повторять.

– Но ты должен!

– Нет, мне просто хотелось узнать, смогу ли я. Теперь знаю. Но я вовсе не хочу делать это напоказ. – В дверях появилось несколько пловцов. Финни внимательно посмотрел на них и произнес, еще больше понизив голос: – И мы не будем это обсуждать. Это останется только между тобой и мной. Ничего не рассказывай... никому.

– Ничего не рассказывать?! И это при том, что ты побил школьный рекорд?!

- Ш-ш-ш-ш! - Он стрельнул в меня острым взволнованным взглядом.

Я замолчал и уставился на него. Но он больше не смотрел на меня.

- Ты неправдоподобно скромн, - спустя несколько секунд сказал я.

- Большое спасибо, - ответил он почти безучастно.

Чего он хотел? Произвести на меня впечатление или что? Никому не говорить? При том, что он побил школьный рекорд, не тренировавшись ни дня?! Но я знал, что он попросил меня об этом серьезно, поэтому никому ничего и не сказал. И может быть, именно поэтому его достижение засело у меня в голове и начало буйно разрастаться в потемках, где я был вынужден его прятать. В книгу рекордов Девонской школы закралась ошибка, ложь, и никто не знает об этом, кроме меня и Финни. А. Хопкинс Паркер, где бы он теперь ни был, продолжал витать в своих иллюзорных эмпиреях. Его побежденное имя по-прежнему красовалось на бронзовой таблице школьных рекордов, между тем как Финни добровольно избегал спортивной славы. Конечно, у него уже было много других почетных достижений: Мемориальный Кубок Уинслоу Гэлбрейта по футболу за христианское мужество, проявленное в играх сезона 1941-1942 годов; Почетная лента и премия Маргарет Дьюк Авентура, присуждаемая ученику, который ведет себя на хоккейном поле так, как вел себя ее сын; Премия за достижения в контактных видах спорта Девонской школы, ежегодно присуждаемая ученику, который, по мнению спортивных наставников, превзошел своих одноклассников по спортивности поведения в играх, требующих физического контакта. Но все это в прошлом, и все это - награды, а не рекорды. В тех видах спорта, в которых Финни участвовал официально - в футболе, хоккее, бейсболе, лакроссе, - рекорды не устанавливались. Переключиться на новый вид всего на один день и тут же побить рекорд - это был такой фокус, такой головокружительный кульбит, какой мне, если честно признаться, и представить было трудно. В такой непредсказуемости мастерства было нечто пьянящее. Когда я думал об этом, у меня немного кружилась голова и начинало трепетать в животе. Одним словом, в этом было что-то ошеломляющее и недостижимое. Когда, глядя на секундомер, я на какую-то долю секунды раньше, чем это отразилось на моем лице или слышалось в голосе, осознал, что Финни побил школьный рекорд, я испытал чувство, которое можно определить словом «шок».

То, что я вынужден был молчать о таком знаменательном событии, лишь усугубило ощущение шока. Это делало Финни чересчур особенным, не для

дружбы – для соперничества. А ведь основу наших взаимоотношений в Девонской школе составляло именно соперничество.

– Плавание в бассейнах все равно странное занятие, – сказал он после необычно долгого молчания, когда мы возвращались в общежитие. – Настоящее плавание – только в океане. – А потом самым обыденным тоном, каким он всегда предлагал что-нибудь действительно безумное, добавил: – Давай поедem на пляж.

Пляж находился в нескольких часах езды на велосипеде, его посещение было строго запрещено, так что предложение Финни переходило все границы. Поехать туда означало подвергнуться риску исключения из школы, лишиться себя возможности позаниматься перед важной контрольной работой, которая предстояла мне на следующее утро, нарушить даже ограниченный до разумных пределов свод правил, которые я установил для себя в жизни, а также это требовало долгой утомительной поездки на велосипеде, который я ненавидел.

– Давай, – ответил я.

Мы вытащили свои велосипеды и улизнули по дороге, начинавшейся за школой, от границы ее территории. Будучи инициатором поездки, Финни считал себя обязанным развлекать меня. Он рассказывал длинные истории из своего детства, а когда я, задыхаясь, с трудом крутил педали на крутых подъемах, ехал рядом и непрерывно шутил. Он анализировал мой характер и требовал, чтобы я, со своей стороны, признался, что мне больше всего не нравится в нем («Ты слишком вежливый», – сказал я). Временами он ехал задом наперед, не держась руками, или стоя на руле, спрыгивал с велосипеда и снова запрыгивал на него на ходу, как наездники, которых он видел в кино. И пел. Несмотря на музыкальность речи, Финни не мог выдерживать тональность и не помнил ни мелодии, ни слов хотя бы одной песни. Но он обожал слушать музыку и петь.

До пляжа мы доехали на склоне дня. Прилив был уже в разгаре, и волны прибоя мощно били о берег. Я нырнул и сделал несколько гребков, но волны достигали такой силы, словно каждая несла в себе всю мощь океана. Вторая волна, подхватив меня, быстро поволокла к берегу, низвергла со своего гребня вниз и стала стремительно накрывать; вмиг она предстала гигантской массой, нависшей высоко над моей головой, потом молниеносно обрушилась, и я потерял ориентацию в пространстве, теперь мною полностью распоряжалась волна: сначала она потащила меня вниз, в какую-то бездонную пучину, потом я ощутил

дно, впечатавшись в песок, потом меня выбросило на берег. Волна, помедлив как бы в нерешительности, с шипением попятилась обратно на глубину, утратив ко мне всякий интерес и не прихватив с собой.

Я отошел подальше от воды и лег. Финни подбежал, церемонно пощупал мой пульс и вернулся в океан. Он провел в воде целый час, каждые несколько минут выскакивая на берег и подходя ко мне поговорить. Жарившее весь день солнце так раскалило песок, что мне пришлось сгрести верхний слой, чтобы лечь, а Финни, чтобы приблизиться ко мне, – каждый раз совершать несколько длинных быстрых прыжков.

Океан, швырявший на ближние скалы пронизанные солнцем пенные хлопья, был по-зимнему холодным. Такое сочетание солнечного сияния и океана, с ревом прибоя и соленым, бесшабашным, изменчивым ветром, дующим с моря, всегда возбуждало Финеаса. Он наслаждался им, носился повсюду и громко хохотал вслед пролетающим чайкам. И делал для меня все, что только сам мог придумать.

Стоя спиной к океану и дувшему от него теперь более прохладному ветру, а лицом – к раскаленным углям мангала, мы съели по хот-догу в прибрежном киоске. Потом отправились в центральную часть пляжа, через которую тянулась вереница традиционных новоанглийских кабачков. Фонари дощатого пляжного променада на фоне темнеющего синего неба выглядели красивой, идеально прямой звездной стрелой, а сливающиеся в единую ленту огни кабачков, тиров и открытых пивных тихо мерцали в прозрачных сумерках.

Мы с Финни, оба в спортивных тапочках и белых слаксах, он – в голубой рубашке поло, я – в футболке, прошлись по променаду из конца в конец. Я заметил, что окружающие пристально смотрят на Финни, и тоже взглянул на него, чтобы понять почему. Его кожа излучала медно-красное сияние, каштановые волосы немного выгорели на солнце, а глаза на фоне загара сверкали холодным синевато-зеленым огнем.

– На тебя все пялятся, – неожиданно сказал он. – Это из-за твоего загара, ты за сегодняшний день загорел как кинозвезда... можно покрасоваться.

Для одного вечера нарушенных нами правил было достаточно. Ни он, ни я не предложили заглянуть в какой-нибудь кабачок или пивную. Мы лишь выпили по

кружке пива в совершенно респектабельном баре, убедив бармена – а может, он лишь сделал вид, что убедился, – будто мы уже достаточно взрослые, для чего продемонстрировали ему фальшивые призывные повестки. Потом мы нашли укромное местечко между дюнами на пустынном конце пляжа и устроились там на ночлег. Последними словами традиционного монолога Финни на сон грядущий были:

– Надеюсь, тебе понравилось, как мы провели здесь время. Понимаю, что я притащил тебя сюда чуть ли не под дулом пистолета, но, в конце концов, не поедешь же сюда с кем попало, и один тоже не поедешь; в подростковом возрасте правильный выбор компании для таких вылазок – это твой лучший друг... – он на миг замялся, а потом добавил: – каковым ты и являешься. – После этого у его края дюны наступило молчание.

Такое высказывание требовало немалого мужества. Вот так выставить напоказ искреннее чувство считалось в Девонской школе едва ли не самоубийством. Мне бы тогда сказать ему, что он тоже мой лучший друг, и тем самым сгладить остроту его признания. Я даже начал было, почти уже сказал. Но что-то заставило меня остановиться. Быть может, это была глубина чувства, гораздо более существенного, чем мысль: ведь в нем-то и таится правда.

Глава 4

На следующий день я впервые увидел рассвет. Он начался не под торжественные звуки океанических фанфар, как я ожидал, а странным серым свечением – словно солнечный свет пробивался сквозь мешковину. Я посмотрел, не проснулся ли Финneas. Тот еще спал и в этом сочащемся свете выглядел скорее мертвым, чем спящим. Океан тоже выглядел мертвым, мертвенно-серые волны язвительно шипели, накатывая на берег, такой же серый и мертвый на вид.

Я перевернулся и попытался снова заснуть, но не смог, а просто лежал на спине, глядя в это серое, похожее на мешковину небо. Очень медленно, постепенно, словно инструменты оркестра, настраиваемые один за другим перед выступлением, его стали пронизывать красочные лучики. От этих цветных прядок начал понемногу оживать и океан, в котором они отражались. Яркие

блики заиграли на гребнях волн, и под их серой поверхностью, в глубине, я увидел полуночное зеленое свечение. Пляж, сбрасывая свою мертвую кожу, приобретал призрачную серовато-белую окраску, постепенно белый цвет брал верх над серым, и наконец все вокруг стало незамутненно-белым и чистым, словно райские берега. При виде Финneasа, все еще спавшего в ложбинке под своей дюной, мне на ум пришел Лазарь, словом божьим воскрешенный из мертвых.

Впрочем, долго я мыслями на этом превращении не задержался. Сколько я себя помнил, у меня было ощущение, будто в моей голове постоянно тикает время. Окинув взглядом небо и океан, я понял, что уже около половины седьмого. На обратный путь в Девон уйдет минимум три часа. Важный зачет по тригонометрии должен был начаться в десять.

Проснувшись, Финneas произнес:

– Кажется, никогда еще я так хорошо не спал ночью.

– А когда это ты спал плохо?

– Тогда, когда сломал на футболе лодыжку. Мне нравится, как сейчас выглядит этот пляж. Совершим утренний заплыв?

– Ты сбрендил? Уже поздно.

– А который час? – Финneas знал, что я – ходячие часы.

– Скоро семь.

– Еще есть время для короткого заплыва, – ответил он и прежде, чем я успел хоть что-нибудь ответить, рысцой, сбрасывая на ходу одежду, побежал к воде и нырнул. Я ждал его, стоя на месте. Вскоре он вернулся, излучая энергию, сияние прохлады и не умолкая ни на миг. Мне нечего было ему сказать.

– Деньги у тебя? – только и спросил я, вдруг забеспокоившись, не выпали ли у него ночью наши общие семьдесят пять центов. Начались поиски в песке, оказавшиеся бесплодными, так что пришлось нам отправляться в долгий путь

без завтрака. В Девон мы прибыли как раз к началу моего зачета, который я благополучно провалил. Что так и будет, я понял, едва взглянув на задание. Это был первый в моей жизни зачет, который я провалил.

Но Финни не оставил мне возможности жаловаться. Сразу после ланча начался матч по блицболу, продолжавшийся бо?льшую часть дня, а сразу после обеда состоялось собрание Суперсоюза самоубийц летнего семестра.

Вечером, в нашей комнате, хоть и вымотанный всеми этими упражнениями, я все же попытался разобраться, что случилось со мной на тригонометрии.

- Ты слишком усердно работаешь, - сказал Финни, сидя напротив меня за столом с книгой. Настольная лампа отбрасывала круглую желтую лужицу света посередине стола, между нами. - Ты знаешь все по истории, английскому и французскому, да и по остальным предметам тоже. На кой тебе сдалась тригонометрия?

- Ну, для начала, мне нужно ее сдать, чтобы закончить школу.

- Ой, только не начинай! Уж если кто-нибудь когда-нибудь в Девонской школе и мог быть уверенным, что получит аттестат, так это ты. Ты работаешь не ради этого. Ты хочешь быть первым в классе, чтобы произнести прощальную речь на выпускном вечере - на латыни или еще каким-нибудь скучным способом, - ты хочешь быть школьным вундеркиндом. Я же тебя знаю.

- Не будь идиотом. Я бы не стал тратить время на подобные глупости.

- Ты никогда не тратишь время. Вот почему мне приходится делать это вместо тебя.

- В любом случае, - ворчливо добавил я, - должен же кто-то быть первым учеником в классе.

- Вот видишь, я же знал, что это и есть твоя цель, - спокойно заключил он.

- Да ну тебя.

А что, если и так? Мне казалось, что это не такая уж плохая цель. Финни выиграл Кубок Гэлбрейта по футболу и получил Премию за достижения в контактных видах спорта, еще две или три спортивные награды наверняка получит в этом или следующем году. Если я стану первым в классе и мне поручат произнести речь на выпускном вечере, тогда мы сравняемся...

Он медленно поднял голову, моя резко опустилась. Я уставился в учебник.

– Расслабься, – сказал он. – Если ты будешь продолжать в том же духе, у тебя мозги взорвутся.

– За меня можешь не беспокоиться.

– Я и не беспокоюсь.

– А тебе не будет... – я запнулся, не уверенный, что мне хватит самообладания закончить вопрос: – досадно, если я стану первым в классе, а?

– Досадно? – Пара синевато-зеленых глаз уставилась на меня. – А ты не думаешь, что это маловероятно в любом случае, учитывая, что есть еще Чет Дагласс?

– Но тебе, тебе это не было бы досадно? – повторил я очень четко, более низким голосом.

Он улыбнулся той своей фирменной полуулыбкой, которая уже тысячу раз вовлекала его в конфликты.

– Я бы застрелился от зависти.

Я ему поверил. Ироническая форма ответа была лишь ширмой; я поверил ему. Страница учебника по тригонометрии у меня перед глазами затуманилась и превратилась в неразборчивое месиво значков. Я ничего не видел. Мозги кипели. Ему была невыносима даже мысль о том, что я могу стать первым в классе! В голове у меня пронеслось несколько вспышек – взрывались одна убежденность за другой: вот взлетело на воздух представление о настоящем друге, вот – о товарищеской привязанности и преданности, вот – вера в то, что есть человек, на которого можно полностью положиться в джунглях мужской школы, вот –

надежда, что в этой школе – в этом мире – существует кто-то, кому я могу довериться.

– Чет Дагласс, – неуверенно сказал я, – да, это вполне вероятно.

Горе мое было настолько глубоким, что я больше не мог говорить. Я пробежал глазами по странице, мне стало трудно дышать, как будто из комнаты вдруг выкачали весь кислород. Одна за другой мысли мелькали в моем опустошенном разуме, отчаянно стремившемся отыскать то, на что еще можно положиться – пусть не полностью, не безоговорочно, эта возможность была уничтожена как таковая, – но хотя бы какое-нибудь малое утешение, что-нибудь, что уцелело в руинах.

И я нашел! Я нашел эту единственную мысль, дающую опору. Вот в чем она состояла: вы с Финеасом уже равны. Вы с ним равны во вражде. Вы оба хладнокровно правите вперед только ради себя самого. Ты ненавидишь его за то, что он побил школьный рекорд по плаванию, ну и что с того? Он тоже ненавидит тебя – за то, что ты до последнего семестра получал высшие оценки по всем предметам. И по тригонометрии у тебя была бы высшая оценка, если бы не он. Если бы не он!

И тут новое озарение пронзило мозг, ясное и холодное, как рассвет там, на пляже: Финни нарочно все устроил так, чтобы сорвать мне зачет. Этим же объяснялись и блицбол, и ежевечерние собрания Суперсоюза самоубийц, этим объяснялось его настойчивое стремление заставить меня разделять все его забавы. И вся его болтовня в духе ты-мой-лучший-друг! И тень, которая накрывала его лицо, если я не хотел что-то делать вместе с ним! Инстинктивная потребность все делить со мной? Конечно, он хотел делить со мной все, особенно длинный хвост своих слабых оценок по всем предметам. Таким образом он, великий атлет, мог по-своему опережать меня. Все это было хладнокровным расчетом, обманом, проявлением враждебности.

Я почувствовал себя лучше. Так человек от облегчения покрывается испариной, избавившись от тошноты; да, я почувствовал себя лучше. Наконец мы сравнялись – сравнялись во вражде. Соперничество не на жизнь, а на смерть было обоюдным.

После этого я стал образцовым учеником. Я и всегда был хорошим учеником, хотя учеба сама по себе не интересовала и не воодушевляла меня так, как Чета Дагласса. Но теперь я стал не просто хорошим, а выдающимся, соперничать со мной мог разве что этот самый Чет Дагласс. Однако я начал замечать, что подлинный интерес Чета к знаниям является и его слабостью. Его порой уводило далеко в сторону; например, он настолько увлекся наклонными плоскостями в стереометрии, что почти провалил тригонометрию, – как и я. Когда мы проходили «Кандида», Чет открыл для себя новый взгляд на мир и продолжал жадно читать Вольтера по-французски, когда класс уже перешел к другим авторам. Да, в этом было его уязвимое место, потому что мне, например, было все едино – что Вольтер, что Мольер, что законы движения, что Великая хартия вольностей, что антропоморфизм, что «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», – над всем этим я работал с одинаковым усердием.

Финни ни о чем таком и понятия не имел, все это было бесконечно далеко от него. В классе он обычно сидел, ссутулившись за партой, с философски-понимающим видом настороженно следил за дискуссией, а когда его самого заставляли высказаться, завораживающая власть его голоса в сочетании с неординарностью мышления рождали ответы, которые часто бывали ошибочными, но которые редко можно было заклеить как дурацкие. Письменные контрольные были для него катастрофой, потому что он не мог прочесть вслух то, что написал, и получал отметки, позволяющие разве что зачесть результат. Не то чтобы он никогда не работал – работал, но спорадически: время от времени, короткими наскоками. По мере того как длилось то судьбоносное лето, я подтянул свою дисциплину, и Финneas тут же увеличил интенсивность своих учебных «припадков».

Все это было мне совершенно очевидно. Я все более и более уверенно шел к тому, чтобы стать лучшим учеником школы; Финneas, без всяких сомнений, был лучшим спортсменом, таким образом мы делались равными. Но если он оставался очень слабым учеником, то я был вполне приличным спортсменом, и если все это бросить на чашу весов, то они определенно склонялись в мою сторону. Очередные атаки школьной программы были с его стороны чрезвычайными мерами спасения. Я удвоил свои усилия.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Сюзерен (от фр. *suzerain*) – крупный феодальный правитель. (Здесь и далее примеч. пер.)

2

«Варшавский концерт» для фортепьяно с оркестром был написан английским композитором Ричардом Эддинселлом (1904–1977) в стиле Рахманинова для фильма «Опасная луна» (1941).

3

Old Glory (англ.) – название государственного флага США. Происходит от названия конкретного флага, который 10 августа 1831 года был вручен капитану брига «Чарлз Даггетт» У. Драйверу в городе Сейлем, штат Массачусетс. При подъеме флага на мачте судна капитан объявил: «Именую тебя «Доблесть прошлого».

4

175, 8 см.

5

Начало американской детской считалки.

Купить: https://telnovel.me/ru/noulz_dzhon/separatnyy-mir

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)